

# **Смяущая красавица**

*Сказка в семнадцати главах, одном послесловии и нескольких  
стихотворениях сомнительного качества*

\* \* \*

## Глава первая. 5 мая, 11:47

Жила-была девочка.

Потом она очень захотела стать взрослой.

Она намазала губы маминой помадой — той самой, вишнёвой, которую стащила из ванной ещё в марте и прятала в коробке из-под акварели. Она надела короткую юбку, расчесала волосы на прямой пробор и открыла на телефоне фильтр, который назывался «взрослая». Фильтр делал глаза больше, скулы — острее, а подбородок — таким, как будто его нарисовал кто-то, кто никогда не видел живых людей.

Девочку звали Ника, и сегодня ей исполнялось одиннадцать лет.

Майское солнце лилось в окно косыми полосами — такими длинными и тёплыми, что в них было видно каждую пылинку. А пылинки в мае пахнут. Они пахнут сиренью с балкона, и маминым кофе, и чем-то таким, чему нет названия, — может быть, самой весной, которая забралась в комнату через форточку и не собиралась уходить.

Ника сидела перед зеркалом. Она чувствовала что-то похожее на триумф — и что-то похожее на пустоту, которую не получалось назвать словом. Как будто внутри,

ровно посередине, кто-то вынул колокольчик, и теперь там тихо.

Её ноги были тонки. Её тело было свежо. Но разум её был сломлен тщеславием — хотя это, конечно, слишком взрослое слово для одиннадцатилетней девочки. Скажем иначе: она хотела казаться не тем, кем была.

И тогда пришла кошка.

Кошку звали Лотта. Она была пятнистой, как карта незнакомой страны, — с одним жёлтым и одним зелёным глазом. Лотта была философски ленива. Она могла лежать на подоконнике три часа, наблюдая за голубями с таким выражением, будто решает задачу о смысле жизни и уже почти решила.

Лотта пришла и легла Нике на колени. Тяжёлая. Тёплая. Безоговорочно настоящая. Замурлыкала — медленно, как будто заводила старинные часы.

И тут случилось вот что.

Ника вдруг вспомнила куклу. Куклу Таню. У куклы Тани была оторвана правая рука — ещё давно, в детстве, которое Ника теперь считала прошедшим, хотя оно никуда, конечно, не уходило. Она вспомнила, как наряжала эту куклу: заворачивала в лоскутки, приклеивала бумажные бусы, рисовала ей фломастером серёжки. И вдруг вспомнила, зачем. Не чтобы кукла была красивой. А чтобы самой не было одиноко.

Руки Ники задрожали. Совсем чуть-чуть. Но Лотта это почувствовала. Кошки всегда чувствуют, когда человек дрожит не от холода, а от правды.

Лотта перестала томно мурчать. Вытянулась во весь рост. Два разноцветных глаза — жёлтый и зелёный — смотрели на Нику снизу, и в них не было ни вопроса, ни упрёка. Только ожидание.

Ника невольно моргнула.

А когда открыла глаза — мир изменился.

Она сидела на полу. Пол был огромен — нитки ковра толщиной с канаты, ножки стула уходили вверх, как колонны. Её руки исчезли. Вместо них были лапы — мягкие, с втянутыми когтями, покрытые пятнистой шерстью — рыжей, белой, тёплой.

А на стуле перед зеркалом сидела девочка. Девочка с помадой на губах и прямым пробором. Девочка, которая была Никой, — но теперь это была Лотта. Лотта в теле Ники. Она смотрела на свои руки — человеческие, с длинными пальцами и кольцом из автомата, которое Ника носила, потому что оно блестело на фото. Лотта понюхала пальцы, чихнула от запаха лака для ногтей и произнесла первое странное слово: «Мя». И это было смешно, и страшновато, но не ужасно — скорее нелепо, как всё настоящее.

Они смотрели друг на друга.

Пыль кружилась в солнечном луче. Из открытого окна пахло сиренью и мокрым асфальтом — потому что ночью прошёл дождь, первый настоящий майский дождь.

И так они сидели, и молчали, и ничего ещё не понимали.

\* \* \*

## **Глава вторая. 5 мая, 11:47, другой конец города**

В это же самое время — минута в минуту, как потом подтвердит Туговник, который помнит всё, — на другом конце города мальчик по имени Глеб сидел на диване в наушниках.

Глеб не праздновал ни чужих, ни своих дней рождения. Он сидел в наушниках четырнадцать часов в сутки — и это не преувеличение. Он спал в наушниках. Он завтракал в наушниках. Он даже пытался мыться в наушниках, пока мама не забрала их на целый вечер, который показался Глебу вечностью.

Глеб хотел казаться крутым, равнодушным и непробиваемым. Он играл в «Архитектуру Снов» — игру, где строят города из воспоминаний. На экране сияли стеклянные мосты и шпили из чьей-то забытой радости. Глеб строил красивые, невозможные города, но никому их не показывал.

Его кот Архип лежал на спинке дивана и точил когти.

Архип был рыжий, беспокойный, с одним надорванным ухом — подобранный с улицы два года назад, в такой же май, после такого же дождя. Архип не был философом, как Лотта. Он был практиком. Он практиковал разрушение мебели, кражу сосисок и сон в самых неудобных местах.

Глеб раздражённо покосился на кота. Кот покосился на Глеба. Между ними прошло что-то — не слово, не взгляд. Скорее вопрос без букв: а ты вообще здесь?

Глеб снял наушники. Это был первый раз за три дня.

Тишина хлынула в уши, как вода. В тишине был слышен ветер за окном, и голоса во дворе, и далёкий-далёкий трамвайный звон — тот самый, от которого Глеб прятался музыкой.

Они смотрели друг другу в глаза — мальчик и кот — и моргнули одновременно.

Глеб стал рыжим котом с оборванным ухом. Он почувствовал это ухо — надорванное, неровное, как страница с загнутым уголком. Это ухо рассказывало историю: Архип получил его в драке с соседским котом, когда жил на улице, до Глеба, до дома, до тепла. Оно не болело, но оно помнило.

Архип стал мальчиком в слишком больших наушниках, которые медленно сползали с его вдруг выросшей головы. Он посмотрел на свои руки — без когтей, без шерсти,

странные и длинные — и попытался выпустить когти. Не получилось. Попытался схватить солнечный луч на полу. Тоже не получилось. Но пальцы оказались интересными — они сгибались, и держали, и могли показывать на вещи, и это было, пожалуй, неплохой компенсацией за отсутствие когтей.

\* \* \*

## Глава третья. Первые минуты

*(два голоса, как два ручья)*

### Ника-кошка

Мир стал огромным и пахнущим.

Запах маминых духов — тот, который раньше казался красивым, — теперь был просто химическим, резким, неправильным. Как если бы кто-то закричал посреди тихой комнаты.

Но запах майского ветра из окна — невыносимо сладкий, почти болезненный. Сирень. Мокрый асфальт. Чья-то выпечка с первого этажа. Трава, которую только что постригли в сквере через три улицы. Ника чувствовала всё это одновременно, и мир звенел запахами, как оркестр, где все инструменты играют сразу.

Пол был холодным. Лапы не слушались — они хотели идти не туда, куда думала голова. Зато слух — слух стал как тысяча маленьких антенн. Она слышала, как в стене гудит водопроводная труба. Как за дверью соседка переворачивает страницу книги. Как в небе, очень высоко, птица зовёт другую птицу.

### **Глеб-кот**

Мир стал цветным по-другому.

Не хуже и не лучше — иначе. Синий стал глубже, насыщеннее, как будто его пропитали ночью. Красный почти исчез — диван, который был бордовым, стал серо-коричневым. Зато движение — каждое движение листа за окном, каждая тень от шторы — превратилось в событие. Глаза цеплялись за малейший шорох пространства.

Наушники лежали на полу. Архип-мальчик смотрел на них и не понимал, что с ними делать. Он взял их в руки, понюхал, попытался съесть и выплюнул.

### **Оба**

Оба кота — в растерянности. Оба в одиночестве. Оба — в мае.

\* \* \*

## **Глава четвёртая. Лотта принимает решение**

Лотта в теле Ники сидела перед зеркалом и не знала, что с ним делать.

Она видела лицо девочки — это лицо ей нравилось, она его знала, она лежала на его коленях каждый вечер. Но помада на губах ей мешала. Она пахла химией и воском. Лотта сделала то, что умела: начала умываться. Лапой. Точнее — рукой, но по-кошачьи: облизнула ладонь и провела по лицу. Помада размазалась от уха до уха розовой полосой.

Лотта встала. Ходить на двух ногах было неудобно — качало, как на палубе. Она пошла на кухню, нашла миску с молоком, которую мама поставила утром, и начала пить прямо из миски, стоя на четвереньках.

Мама зашла на кухню.

— Ника, что с тобой?

Лотта подняла голову. Молоко стекало по подбородку. Глаза смотрели на маму с такой невозмутимостью, что казалось — в них поселился кто-то другой, кто знает о мире что-то главное. И Лотта сказала единственное, что умела:

— Мя.

Мама постояла. Посмотрела. На секунду в её глазах мелькнуло что-то — не подозрение, а нежность: такая странная и такая моя. Потом мама посмотрела на часы, охнула, решила, что у дочери просто день рождения и творческий кризис — бывает, — и ушла на работу, оставив на столе записку: «Пирог в духовке. Позвони бабушке.

Люблю.»

А Лотта доела молоко, забралась на подоконник, свернулась калачиком на солнечном пятне и уснула. Потому что кошка, даже в человеческом теле, знает главное: если не понимаешь, что делать, — поспи. Ответ придёт.

\* \* \*

## Глава пятая. Побег в город

Ника-кошка поняла, что сидеть в квартире бессмысленно.

Форточка была приоткрыта. Щель — узкая, для человека непроходимая. Но Ника больше не была человеком. Она была кошкой, а кошки протискиваются в щели, которые уже их собственной головы, — это один из главных секретов кошачьего народа, и люди его до сих пор не разгадали.

Ника протиснулась в форточку — и спрыгнула с подоконника второго этажа.

Это не было страшно. Кошачье тело знало, что делать: сгруппироваться, раскрыться, приземлиться мягко, на все четыре лапы. Пружины вместо костей. Воздух вместо страха. То, что безопасно кошке, человеку никогда не стоит повторять — но Ника сейчас была не человеком.

Город распахнулся.

Он был огромным. Ника никогда не думала, что город — огромный: она привыкла к нему, как привыкают к обоям в своей комнате. Но теперь, с высоты кошачьего роста, каждый тротуар был проспектом, каждая ступенька — горой, каждая лужа — озером, в котором отражались облака и верхушки деревьев.

Он пах сиренью и асфальтом после ночного дождя. Пах бензином — чуть-чуть, как дальний грозовой раскат. Пах хлебом из булочной на углу, и кошачьей мятой из палисадника, и чьими-то сырниками с третьего этажа дома напротив. Каждый запах был не просто запахом — он был историей. Сирень рассказывала о том, что ей уже двадцать лет и что в её корнях живёт мышь. Асфальт рассказывал о ночном дожде — капля за каплей, как по нотам. Хлеб из булочной рассказывал самую простую и самую тёплую историю на свете: кто-то встал в четыре утра, замесил тесто, и теперь весь квартал просыпается от этого запаха и знает, что мир — на месте.

Ника шла — куда? Она сама не знала. Но что-то тянуло её к старой части города: туда, где мощёные переулки помнят прошлый век, где фонари чугунные, а не алюминиевые, где между домами растут тутовые деревья и дикий виноград обвивает стены до самых крыш.

По дороге ей встретился голубь. Голубь посмотрел на неё одним глазом — круглым, оранжевым — и сказал что-то на голубином языке. Ника не поняла слов, но поняла интонацию: голубь спрашивал, не потерялась ли она. Она

не потерялась. Она, наоборот, искала — только сама ещё не знала что.

Потом она увидела девочек — примерно её возраста. Они стояли у цветущей яблони и делали селфи. Одна надувала губы. Другая выгибала спину. Третья поправляла чёлку снова, и снова, и снова, и лицо у неё при этом было такое сосредоточенное, будто она решает контрольную по математике.

Раньше Ника захотела бы оказаться среди них. Встать рядом. Попасть в кадр. Теперь — кошачьими глазами — она видела другое. Она видела, что каждая из них немного не такая, какой хочет казаться. Что их улыбки — не настоящие, а тренированные. Что яблоня за их спинами цветёт так красиво, так безнадёжно красиво, — лепестки падали белым дождём, и каждый пах так, будто его придумал кто-то, кто знал всё о нежности, — а ни одна из них на неё даже не смотрит.

Ника впервые не позавидовала. Она пожалела. Чуть-чуть. По-кошачьи. А потом один лепесток сел ей на ухо, и она дёрнула ухом, и лепесток полетел дальше — белый на ветру, как маленькое письмо, которое никто не написал и никто не прочитает. И Ника пошла дальше.

\* \* \*

## **Глава шестая. Архип учится быть мальчиком**

На другом конце города Архип в теле Глеба делал то, что делают все коты, попав в новое место: исследовал периметр.

Он обходил квартиру по стенам — буквально прижимаясь к ним плечом. Нюхал углы. Заглядывал за шкаф. Запрыгнул на подоконник и сел там, глядя вниз с высоты шестого этажа, с видом хозяина, обзирающего свои владения.

Потом он нашёл экран с игрой «Архитектура Снов» и обнаружил нечто поразительное: он умеет читать. Буквы складывались в слова. Слова — в смысл. На экране светился город из чужих воспоминаний — стеклянные мосты и шпили из чьей-то забытой радости, и улица детства, которую снесли, и бабушкин сад с вишнями, и первый велосипед, на котором кто-то ехал и не мог остановиться от счастья.

Архип долго смотрел. Он не понимал, почему эти картинки вызывают тепло в незнакомой человеческой груди. Но он нажал «сохранить» — просто потому, что кот не может оставить чужую память незащищённой. Это инстинкт. Как ловить мышей. Как мурлыкать.

Потом Архип вышел в коридор и нашёл кроссовки Глеба. Он долго обнюхивал их — они пахли Глебом, и резиной, и травой из парка, и чуть-чуть одиночеством, которое, как выяснилось, тоже имеет запах — кисловатый, как недозрелое яблоко. Архип нечаянно зашнуровал кроссовки и удивился: оказывается, человеческие пальцы — удобная

штука. Ими можно чесать за ухом. Ими можно открывать банки с тунцом.

Он открыл банку с тунцом, съел всё, вымыл руки (не потому что понимал зачем, а потому что вода из крана была интересная — она блестела и двигалась, а всёдвигающееся нужно ловить), и вышел из квартиры.

На лестнице он встретил соседку — пожилую женщину с пакетами из магазина. Она сказала: «Глеб, помоги донести». Архип не понял слов, но понял интонацию: человеку тяжело, надо помочь. Он взял пакеты — легко, одной рукой, потому что в человеческом теле всё было удивительно сильным. Соседка посмотрела на него странно.

— Глеб, ты сегодня какой-то другой, — сказала она.

Архип посмотрел на неё честными глазами и сказал:

— Мрр.

Соседка решила, что мальчик простужен. Но потом, поднимаясь по лестнице, она подумала: какое странное тёплое чувство — когда кто-то помогает не потому, что должен, а потому что не может иначе.

Дверь Архип закрыть забыл. Впрочем, он никогда не закрывал дверей — это было одним из его принципов. Кошки верят, что закрытая дверь — это ошибка мироздания, которую нужно исправить при первой возможности.

\* \* \*

## Глава седьмая. Площадь Фонарей

Ника-кошка добралась до старой части города к полудню.

Здесь всё было другим. Дома стояли теснее. Переулки петляли, как будто их рисовал тот, кто не знал, что такое линейка. Фонари были чугунные, витые, похожие на застывших цапель. И посреди маленькой площади, вымощенной булыжником, росло дерево.

Это был Тутовник.

Ему было триста лет — так говорили, хотя никто не считал точно, потому что деревья не отмечают дней рождения. Его ствол был толщиной с комнату, а ветви расходились так широко, что под ними умещалась вся площадь, и ещё оставалось место для двух скамеек, одного фонтана, который не работал с 1993 года, и воробья.

На нижней ветке Тутовника сидел воробей.

Воробей посмотрел на кошку. Кошка посмотрела на воробья. В нормальных обстоятельствах это закончилось бы плохо для воробья. Но обстоятельства были ненормальными.

— Ты не та кошка, которой притворяешься, — сказал воробей.

Ника застыла.

— Откуда ты знаешь?

— Кошки не смотрят на небо с такой тоской. Только люди. Кошки смотрят на небо с любопытством. А ты смотришь так, будто потеряла там что-то важное.

— Кто ты? — спросила Ника.

— Сенека, — сказал воробей. — Поэт. Плохой, но честный. Живу в дупле Тутовника, питаюсь крошками и рифмами. Иногда рифмы вкуснее.

Он встряхнул перья, подпрыгнул на ветке и произнёс — торжественно, как будто выступал перед тысячной аудиторией:

*Кто был человеком и стал вдруг котом,  
тот знает: тоска пахнет мёдом потом.*

— Это плохое стихотворение, — сказала Ника.

— Плохое? — Сенека нахохлился, но не обиделся. Воробьи не умеют обижаться. У них для этого слишком мало времени — нужно есть крошки, летать и сочинять стихи. — Зато честное, — ответил он. — Рифма пришла, а я не стал ей врать. Врать рифмам нельзя — они потом мстят. Приходят ночью и не дают спать, пока не скажешь правду.

Ника хотела засмеяться — но из кошачьего горла вышел странный звук. Не мяуканье. Не смех. И не фырканье. Что-то среднее между всеми тремя. Что-то, чему не было названия ни на одном языке мира — ни на человеческом, ни на кошачьем, ни на воробьином.

— Смяу! — сказала Ника и сама удивилась.

Сенека наклонил голову.

— Вот, — сказал он. — Вот теперь ты — Смяущая красавица.

— Что это значит?

— Не знаю пока. Но звучит красиво. Может, потом пойму.

\* \* \*

## Глава восьмая. Тутовник говорит

Старый Тутовник заметил Нику не сразу. Деревья не торопятся. У них другое время — медленное, как сок, поднимающийся по стволу от корней к листьям.

Но когда он заговорил, слова выходили по одному, как листья осенью:

— Я... помню... девочку... которая... плакала... здесь... в 1987 году... потому что хотела быть взрослой.

Ника слушала. Ветер шевелил тутовые ветви.

— Я помню мальчика в 2003-м... который притворялся, что ему не страшно идти в новую школу. Он сидел под моими ветвями и шептал: «Мне не страшно. Мне не страшно.» Но сердце его стучало так громко, что я слышал его корнями.

— Я помню кошку... — тут Тутовник помолчал, и молчание его было долгим и пахло землёй. — Кошку в одну очень

холодную зиму. Она грела человека, который замёрз на этой скамейке, всю ночь. Не потому что он её просил. А потому что было холодно, а она была тёплая. Вот и всё.

— Они все хотели одного, — продолжал Тутовник, — чтобы их увидели настоящими. Не такими, какими они старались быть. А такими, какие есть — с трещинами, и страхами, и смешными привычками.

— И что? — спросила Ника. Голос у неё был тихий, кошачий, но дерево его слышало. — Их увидели?

— Сначала им пришлось увидеть себя.

Пауза. Майский ветер принёс запах цветущей акации с соседней улицы. Тутовые ягоды ещё не созрели — зелёные, твёрдые, маленькие, как нераскрытые мысли.

\* \* \*

## Глава девятая. Дворовый Wi-Fi

Посреди площади Фонарей стоял столб. На столбе — маленькая коробочка. На коробочке — стикер, написанный от руки маркером: «FountainSq\_free». Старая точка доступа, существовавшая с 2009 года. Никто не знал, чья она. Пароля не было.

Ника-кошка шла мимо столба — и вдруг села прямо под антенной.

Не по своей воле. Просто лапы остановились, и всё.

И тогда она услышала.

Не слова. Не звуки. Ощущения.

Чья-то радость от первого снега — такая яркая, что кожу щиплет. Чья-то горечь от несправедливой оценки — не тройка обидела, а то, что не дали объяснить. Чья-то нежность к старой собаке, которая уже плохо видит, но всё равно бежит к двери, когда хозяин приходит. Чья-то влюблённость — первая, бессмысленная, от которой всё вокруг становится ярче на один тон. Чей-то страх темноты — детский, ночной, рассыпающийся к утру.

Тысячи маленьких настоящих чувств. Люди однажды испытали их здесь, на этой площади, подключённые к бесплатному Wi-Fi. Они читали новости, писали сообщения, листали ленту — а чувства оставались. Случайно. Просто потому что были подключены.

Wi-Fi был не добрый и не злой. Он просто помнил. Как фотоальбом, который никто не открывает, но который хранит всё. Возможно, именно поэтому никто не убирал эту старую точку доступа. Не потому что забыли — а потому что город чувствовал: здесь хранится что-то важное. Не данные — отпечатки души.

Ника сидела под антенной долго. Чувства проходили сквозь неё — как тёплый ветер, как солнечный луч, как музыка из открытого окна. Она почувствовала, как кто-то однажды сидел на этой самой площади и думал о своей маме, которая печёт яблочный пирог по воскресеньям — и

эта мысль была такой нежной, такой простой, что Ника закрыла глаза и на мгновение почувствовала запах яблок и корицы, хотя рядом не было ни яблок, ни корицы — только сирень и май.

*Вот оно, — подумала Ника. Настоящее не исчезает. Оно просто ждёт, когда его кто-нибудь почувствует снова.*

Ника не знала, как это называется. Но ей стало тепло.

Сенека слетел с ветки и сел на антенну.

*Wi-Fi помнит, что ты забыл:  
как ты плакал, и как ты жил.*

— Опять плохое стихотворение, — сказала Ника, но голос у неё дрожал.

— Стихи не бывают плохими, — ответил Сенека. — Бывают незрелые. Как тутовые ягоды.

\* \* \*

## **Глава десятая. Глеб выходит на улицу**

Пока Ника слушала чужие чувства под антенной Wi-Fi, Глеб-кот шёл по городу, и город был невыносимо прекрасен.

Всё, от чего он раньше прятался в музыку, теперь обрушилось на него: трамвайный звон, детский смех из парка, звук капель с крыш (дождь давно кончился, но

крыши помнили), шорох велосипедных шин, голоса — десятки голосов — не слова, а мелодии, потому что кошачьи уши слышат в каждом голосе музыку.

Он шёл осторожно. Слишком осторожно для кота. Думал о каждом шаге. Ставил лапу — проверял — переносил вес — ставил следующую. Как будто шёл по тонкому льду, а не по весенней улице.

Архип-мальчик видел его из окна квартиры — видел рыжего кота, который идёт не как кот. Слишком думая. Слишком осторожно.

*Это Глеб*, — понял Архип. Не умом — он ещё не привык к уму, — а тем местом внутри, где кошки хранят знание о своих людях.

Архип вышел за ним. Шёл рядом, в теле мальчика, неуклюже переставляя ноги. Наушники он надел на шею, потому что не понял, зачем они.

Глеб-кот оглянулся. Увидел себя — мальчика в слишком больших кроссовках — и замер.

*Неужели я выгляжу вот так? — подумал он. Как будто всё время жду удара? Как будто мир — это что-то, от чего нужно защищаться?*

Архип-мальчик подошёл ближе и сел рядом на корточки — совершенно по-кошачьи, подобрав под себя ноги. Прохожие оглядывались на мальчика, сидящего на корточках рядом с рыжим котом. Они не знали, что

мальчик — это кот, а кот — это мальчик. Но кто-то даже сфотографировал — потому что это выглядело... настоящим. В век, когда все ходят, уткнувшись в экраны, мальчик на корточках рядом с котом — это было как открытка из прошлого века.

Они пошли рядом — кот и мальчик — по весенней улице. Не разговаривали. Не умели ещё. Но оба думали об одном: *кем я был до того, как начал притворяться?*

Тёплый ветер нёс тополиный пух. Пух касался Глебовой рыжей шерсти и щекотал. Глеб чихнул. Архип чихнул в ответ. И это почему-то было смешно — не смешно-весело, а смешно-тепло, как бывает между теми, кто понимает друга друга без слов.

По дороге они прошли мимо старого парка. Там, на детской площадке, у песочницы, малыши лепили куличики из весенней грязи. Без всяких телефонов. Без наушников. Просто руками — по локоть в глине, с листьями в волосах, с песком на коленях. Один мальчик, совсем маленький, разговаривал с жуком. Жук полз по лопатке, мальчик говорил ему: «Ты иди налево, там клад. Нет, налево!» Жук полз направо. Мальчик не обижался.

Глеб смотрел на это и вспомнил: он тоже так умел. Когда-то. До наушников. До игр. До того, как он решил, что мир — это то, от чего нужно спрятаться. Он умел разговаривать с жуками, и с лужами, и с облаками, и со своим отражением в витрине магазина. Когда это кончилось? Он не помнил. Но кошачье сердце, бьющееся в

его рыжей груди, помнило.

И они оба поняли, что идут в одну сторону: к старой части города, туда, где растут тутовые деревья и мощёные переулки помнят прошлый век.

\* \* \*

## **Глава одиннадцатая. Встреча на площади Фонарей**

Ника-кошка и Глеб-кот вышли на площадь Фонарей почти одновременно — с двух разных переулков. Она — из переулка Сириного, он — из переулка Черешневого.

Они не знали друг друга. Никогда не встречались. Жили в разных концах города, ходили в разные школы, читали разные книги, слушали разную музыку (Ника слушала, Глеб — прятался в музыку, а это не одно и то же).

Но когда кошка увидела кота — а кот увидел кошку — они поняли сразу.

Это было как запах. Не буквальнй запах, хотя и он тоже. Скорее — ощущение. Когда среди тысячи кошачьих взглядов ты узнаёшь человеческий — потерянный, немного испуганный, немного удивлённый и очень, очень одинокий.

Сенека сверху, с ветки:

*Два кота, что совсем не коты,  
встретились там, где цветут высоты.*

— Что такое «цветут высоты»? — спросил Глеб. Его рыжий хвост недовольно дёрнулся. — Это даже не рифма, это бессмыслица.

— Высоты — это когда тебе высоко и ты цветёшь, — сказал Сенека и надулся. Но надувшийся воробей — это просто очень маленький пушистый шарик, и выглядит это скорее трогательно, чем грозно. — Поэзия не обязана быть логичной. Она обязана быть. Как дождь. Как сирень. Как кошки, которые на самом деле люди.

Ника сказала:

— Ты тоже?..

— Тоже, — ответил Глеб. — С одиннадцати сорока семи.

— И я.

Они помолчали. Майское солнце стояло высоко, и тень Тутовника накрывала их обоих, как одеяло.

— Я Ника.

— Глеб.

— Что будем делать?

— Не знаю. Но тут есть говорящее дерево и плохой поэт. Может, они знают.

— Я не плохой! — крикнул Сенека. — Я недооценённый!

\* \* \*

## Глава двенадцатая. Бабушка Роза

На скамейке под Тутовником сидела женщина с ботаническим альбомом.

Ей было восемьдесят два года. Она была маленькая, сухая, с белыми волосами, завязанными в пучок, и с руками, на которых были видны все прожитые вёсны — восемьдесят две штуки, каждая со своей погодой.

Её звали Роза. Бабушка Роза — соседка Ники, бывший ботаник, специалист по тутовым деревьям. Она не удивлялась ничему. Когда ей было двадцать четыре, она видела, как расцвёл столетний кактус. Когда ей было шестьдесят, она обнаружила новый вид мха, растущий только на крышах троллейбусов. После таких открытий два говорящих кота уже не казались чем-то из ряда вон.

Она смотрела на Нику и Глеба, и в её взгляде не было ни удивления, ни жалости — только спокойное внимание, как у врача, который уже поставил диагноз и знает, что больной выздоровеет.

— А, — сказала она. — Опять майское.

— Вы знаете? — Ника подбежала к ней, подняла мордочку.

— Тутовник рассказывал. Это бывает, знаешь. Не каждый год. Раз в сколько-то лет. Когда двое детей одновременно

хотят быть кем-то другим — так сильно хотят, что воздух трещит, — природа устаёт ждать и меняет их местами. С теми, кто уже знает, как быть собой.

— Значит, Лотта и Архип знали?

— Кошки всегда знают, — бабушка Роза перевернула страницу альбома: засушенный тутовый лист 1978 года, желтоватый, хрупкий, с прожилками, похожими на карту рек. — Потому что они никогда не притворяются. Кошка не бывает «не такой». Она бывает только собой. Даже когда крадёт сосиски.

— И что нам делать? — спросил Глеб.

Бабушка Роза закрыла альбом. Между страницами лежали засушенные тутовые ягоды — чёрные, сладкие, похожие на маленькие галактики.

— Чтобы вернуться, — сказала она, — не нужно расколдовываться. Вы не заколдованы. Вы просто заблудились. Нужно вспомнить одну настоящую вещь о себе. Не то, кем хотел казаться. Не то, кем считали. А то, кем был — и не стыдился.

— Одну? — переспросила Ника. — Только одну?

— Одной достаточно, — сказала бабушка Роза. — Если она настоящая, из неё вырастет всё остальное. Как из семечка — тутовое дерево. Только не врите. Ни себе. Ни друг другу. Ни майскому ветру. Он запоминает.

— А как мы узнаем, что пора? — спросила Ника.

— Когда вспомните — вернётесь домой и посмотрите своему зверю в глаза, — сказала бабушка Роза. — Он узнает тебя. Ты узнаешь его. И всё встанет на место.

\* \* \*

## Глава тринадцатая. Сад Отражений

Пока Ника и Глеб думали, Тутовник сделал кое-что необычное. Он наклонил нижнюю ветвь — медленно, как старик протягивает руку, — и указал в сторону двух гаражей, густо заросших диким виноградом.

— Между ними, — сказал он. — Калитка. Она бывает не всегда. Но сегодня — бывает.

Ника и Глеб подошли к гаражам. Между ними действительно была калитка — деревянная, покосившаяся, с облупившейся голубой краской. Её не было здесь вчера. Её не будет здесь завтра. Но сейчас она была — и дверная ручка была тёплой, как будто кто-то только что держал её в ладони.

Они вошли.

За калиткой был сад.

Он не был большим — может быть, со школьный класс, не больше. Но казался бесконечным. Не потому, что уходил за горизонт, а потому, что каждый его уголок был настолько полон — настолько насыщен жизнью, и цветом,

и звуком, — что можно было смотреть часами и не увидеть всего.

Это был не обычный сад. Деревья здесь цвели не цветами. На одном кусте висели хихиканья — маленькие, как бубенцы, прозрачные и звонкие; они позванивали на ветру, и от этого звона хотелось улыбнуться, даже если не знаешь почему. На другом — удивления: они были похожи на раскрытые ладони, белые с розовым, как цветы магнолии. На третьем — молчаливые улыбки, тёплые, как войлок, как варёжка в кармане — не нужна сейчас, но хорошо, что есть. А одно дерево — кривое, корявое, растущее вбок, как будто ему надоело тянуться вверх, — было усыпано гримасами: смешными, глупыми, некрасивыми и совершенно прекрасными. Ника узнала одну — это было лицо, которое она корчила в зеркале, когда ей было семь и никто не смотрел.

Пахло здесь тоже не цветами. Пахло — воспоминаниями. Бабушкиным вареньем, и детским мылом, и новой книжкой, и собакой, которую обнимаешь после прогулки, и первым снегом, который ложится на ладонь и сразу тает.

В центре сада стоял пруд. Маленький, круглый, неподвижный. Вода в нём была такой прозрачной, что казалось — её нет. Только отражение.

— Это Сад Отражений, — сказал Сенека, залетевший следом. — Здесь хранятся настоящие выражения лиц. Не те, которые для фото. А те, которые бывают, когда никто не смотрит.

— И что мне нужно сделать? — спросила Ника.

— Просто посмотри, — ответил Сенека. И впервые не стал ничего рифмовать.

Ника подошла к пруду и заглянула.

Она увидела не кошку. И не девочку с помадой и прямым пробором. Она увидела — себя. Настоящую. С чёлкой, которая вечно лезла в глаза. С носом, который она считала слишком большим, а на самом деле он был просто нос. С улыбкой — широкой, открытой, где виден каждый зуб, даже тот, который ещё не вырос до конца. С глазами, в которых не было фильтра «взрослая», но было что-то другое — любопытство, и нежность, и немного озорства, и ещё что-то такое, чему нет названия на человеческом языке, но на кошачьем есть.

И Ника поняла: то, что она увидела, — красивее всех фильтров мира.

Глеб тоже посмотрел. Он увидел мальчика — не крутого, не равнодушного, не непробиваемого. Мальчика, который рисовал города в тетрадке и волновался, и запинаясь, и чесал затылок, когда не знал, что сказать. Мальчика без наушников. Мальчика, у которого уши торчат — левое чуть больше, чем правое, — и это не недостаток, а просто он.

Они оба сначала смутились. Ника отвернулась — не потому что ей не понравилось, а потому что это было слишком. Слишком настоящее. Слишком она. Глеб смотрел в пруд и моргал — быстро, по-кошачьи — как будто хотел

стереть отражение и заменить его тем, которое привык видеть. Но пруд не обманывал. Он просто показывал то, что есть.

А потом — именно это было важно — они начали смеяться. Не над собой. Не от смущения. А просто потому, что мир вдруг стал легче — как будто кто-то снял с них невидимый рюкзак, который они таскали так долго, что перестали замечать его вес.

\* \* \*

## Глава четырнадцатая. Три смешка мая

Но одного смеха было недостаточно.

Тутовник качнул ветвями — по саду пронеслось что-то похожее на вздох, — и заговорил снова. Медленно. Как всегда.

— Чтобы вернуться... нужно принести три вещи. Не в руках. В сердце. Смешинку, которую нельзя записать. Слезинку, которой не стыдно. И мая, сказанное вместо лжи.

— Это абсурд, — сказал Глеб-кот.

— Абсурд — это когда мальчик носит наушники, чтобы не слышать мир, — мягко ответил Тутовник. — А три смешка мая — это просто условие. Они не берутся силой. Они случаются.

И тут, как будто мир решил помочь, с площади Фонарей донёлся звон. Не трамвайный — тише, легче, как будто ложечкой стукнули по стакану с вареньем.

На площадь выехал трамвай.

Он был старый, красный, с потёртыми боками и табличкой «№ 5». Рельсов на площади не было уже много лет — их убрали, заложили камнем, — но трамвай ехал всё равно, как будто рельсы были для него необязательной формальностью.

Двери открылись. Внутри пахло пылью, яблоками и дождём по асфальту. На сиденьях лежали предметы: ленточка от косички, деревянный кубик, рисунок карандашом — дом с непропорционально большим окном, — леденец в обёртке, камешек с моря и конструктор, из которого была собрана корова.

— Это Архивариус Смеха, — сказал Сенека. — Он хранит потерянные детские вещи. Не вещи-предметы. Вещи-умения. Умение сидеть на корточках. Разговаривать с жуками. Строить короны из листьев. Плакать без стыда. Смеяться без репетиций.

Кондуктора не было. Или был — но он был невидим, как всё самое важное. На водительском месте лежала записка, написанная почерком, который менялся каждое слово — то детским, крупным, с круглыми буквами; то взрослым, мелким, торопливым; то кошачьим — с завитушками, похожими на хвосты:

*«Первый смешок случится, когда ты перестанешь искать.»*

Ника перевернула записку. На обратной стороне было написано: *«Не просыпайтесь слишком сильно.»*

Они не поняли. Но слова остались внутри — как семечко, которое прорастёт потом.

И трамвай уехал — медленно, позвякивая, по невидимым рельсам, мимо цветущих каштанов и спящих фонарей. Его звонок прозвучал ещё раз — далеко, нежно, как колокольчик на ошейнике уходящего кота.

\* \* \*

### *Первый смешок.*

Ника сидела на краю фонтана — того самого, который не работал с 1993 года. Она пыталась вспомнить свою «настоящую вещь». Она пыталась — усердно, как контрольную пишут.

И ничего не происходило.

— Перестань стараться, — сказал Сенека.

— Я не стараюсь, — соврала Ника.

— Стараешься. Ты стараешься не стараться. Это ещё хуже.

Ника хотела обидеться — но тут ветер принёс одуванчик. Одуванчик сел ей на нос. Прямо на кошачий нос. И Ника чихнула — так громко, так неожиданно, так по-кошачьи нелепо, что Глеб засмеялся.

Он засмеялся — первый раз за весь день. Не в наушниках. Не над шуткой из интернета. Над живым, настоящим чихом. И его смех был таким — невозможным, захлёбывающимся, с хрюканьем и всхлипами, — что Ника тоже засмеялась. То есть смяукнула. И это было так нелепо, что засмеялся даже Сенека, а воробьиный смех — это что-то вроде серии коротких «чик-чик-чик», от которых кажется, что воздух щекочется.

Никто это не записал. Ни одна камера, ни один телефон. Смешинка случилась — и осталась только в тех, кто смеялся.

Первый смешок мая.

\* \* \*

*Второй смешок.*

Они сидели под Тутовником, и день клонился к вечеру. Свет стал золотым, косым, таким, какой бывает только в мае, когда солнце садится медленно, будто не хочет уходить.

Глеб молчал. Долго. Так долго, что солнце успело сдвинуться на полладони, и тень Тутовника переползла на другую скамейку. Ника ждала. Она не торопила — кошки умеют ждать; это одно из немногих умений, которое ей понравилось в кошачьем теле. Люди всегда торопятся, даже когда некуда. Кошки ждут спокойно, потому что знают: всё, что должно прийти, придёт. Надо просто быть

здесь.

Потом Глеб заговорил — тихо, кошачьим голосом, и слова давались ему трудно, как будто он перекачивал камни:

— Я рисую города. В тетради. С пятого класса. Придуманные. Такие, которых нет. С мостами через облака и лестницами, ведущими в небо.

Он замолчал. Потом продолжил:

— Я никому не показывал. Потому что... потому что если покажешь — скажут «красиво» или «некрасиво», и в обоих случаях что-то сломается. Пока они мои — они целые.

У Глеба-кота блеснули глаза. Это не было обычное кошачье мерцание. Это была слеза. Маленькая, солёная, настоящая. Она скатилась по рыжей шерсти и упала на тутовый лист — он был засохший, жёлтый, он лежал на земле с прошлой осени, — и лист вздрогнул.

Ника не стала утешать. Не стала говорить «не грусти» или «всё будет хорошо» — все эти слова, которые люди произносят, когда не знают, что сказать. Она просто села рядом. Маленький кошачий комочек тепла. И молчала. И этого было достаточно.

Слезинка, которой не стыдно.

Второй смешок мая. Хотя на этот раз никто не смеялся — и всё равно это называлось «смешок», потому что настоящие названия не всегда говорят правду, а иногда

говорят что-то лучшее.

\* \* \*

## Глава пятнадцатая. Мяу вместо лжи

Третий смешок был самым трудным.

Солнце почти село. Небо стало цвета абрикосового варенья — розовое с золотым, как будто кто-то разлил его по горизонту и не стал вытирать. Фонари на площади зажглись — не все, через один, — и в их жёлтом свете Тутовник выглядел огромным, тёмным и очень старым.

Ника знала, что ей нужно сделать. Бабушка Роза сказала: вспомнить настоящую вещь о себе. Сенека сказал: мяу вместо лжи. Тутовник молчал, но молчание его было ожидающим.

Ника думала.

Настоящая вещь. Одна. Такая, которую она знала — и прятала. От подруг. От мамы. От зеркала. От себя.

И она сказала — тихо, но ясно:

— Я пою в душе. Очень громко и очень неправильно. Я не попадаю ни в одну ноту. Я путаю слова. Я придумываю свои, когда забываю чужие. И мне это нравится.

Глеб посмотрел на неё.

— Нравится?

— Нравится. Это единственное место, где я не притворяюсь. Потому что вода шумит, и пар, и никто не слышит, и можно быть такой, какая есть — с большим носом, и мокрыми волосами, и голосом, который никогда не поставят на запись.

Она помолчала. Потом добавила:

— Я хотела быть красивой. Взрослой. Такой, на которую смотрят. Но на самом деле я просто хотела, чтобы мне разрешили петь. Не красиво. Просто петь. Своим голосом. Даже если он кривой.

Она открыла рот — кошачий, маленький, с белыми усами, — и из него вышло: «Мяу».

Не мяуканье. Не слово. Что-то третье. Честное, неуклюжее, живое. Мяу, сказанное вместо всей лжи, которую она говорила себе перед зеркалом. Мяу вместо «я уже взрослая». Мяу вместо «мне всё равно». Мяу вместо «я не хочу играть».

Тутовник качнулся — всем стволом, от корней до верхушки. Фонари мигнули. Воздух стал тёплым и пахнущим — сиренью, и мокрой землёй, и ванилью из булочной, которая давно закрылась, но запах почему-то остался. В Саду Отражений деревья зашелестели — все разом — и на одну секунду стало слышно, как весь город смеётся. Не громко. Не весело. А так, как смеются от облегчения — когда долго держал в себе, а потом отпустил.

Над прудом прошла рябь — как будто кто-то невидимый коснулся воды кончиком пальца, — и отражения в нём стали ярче.

— Вот, — сказал Тутовник. — Вот вы.

Бабушка Роза, которая всё это время сидела на скамейке и делала вид, что рисует тутовый лист в альбом, подняла голову. Её глаза блестели. Она закрыла альбом, положила его на колени и погладила обложку — как гладят кошку, которая наконец пришла домой.

— Вот и всё, — сказала она тихо. — Можно идти домой.

Дождь скоро начнётся. А дождь в мае — это не неприятность, а подарок. Смотрите не пропустите.

Третий смешок мая. Мяу, которое было правдивее любых слов.

\* \* \*

## Глава шестнадцатая. Возвращение

Они шли домой — каждый в свою сторону — но с одним ощущением. Как будто внутри, там, где раньше была пустота, теперь лежало что-то маленькое, тёплое и мурлыкающее.

Дождь начался внезапно.

Не тот дождь, от которого прячутся. Тёплый. Майский. Почти смеющийся. Капли были большие, ленивые — они падали так, будто им некуда спешить.

Ника-кошка бежала по лужам и хохотала — смяукала — «смяу-ха-ха-ха» — и это было так нелепо, что прохожие оглядывались на кошку, которая скачет по лужам и, кажется, смеётся.

Один мальчик — лет шести, в жёлтых резиновых сапогах — остановился и сказал маме:

— Мам, кошка хохочет!

— Кошки не хохочут, — ответила мама.

— Эта — хохочет, — сказал мальчик.

И он был прав.

Глеб-кот шёл под дождём медленнее. Он остановился у забора, на котором кто-то давно нарисовал карту несуществующего города. Рисунок почти стёрся от времени и дождей — но Глеб видел. Он видел мосты через облака, и лестницы, ведущие в небо, и дома с окнами во все стороны.

*Значит, кто-то ещё, — подумал он. — Значит, я не один.*

Они вернулись домой. Каждый в свою квартиру, на свой этаж, к своей кошке.

Дождь не кончался. Он становился тише, мягче — переходил в морось, в шёпот, в почти-тишину. Город успокаивался, как ребёнок после плача. Фонари горели

ровно. Листья блестели. Где-то далеко гудел последний трамвай — и гудок его был не резким, а долгим и низким, как нота виолончели.

Ника-кошка протиснулась обратно в форточку — мокрая, тяжёлая, пахнувшая дождём и сиренью и чем-то ещё, чему она не знала названия, но если бы знала — назвала бы «возвращение». Лотта-девочка лежала на диване и смотрела в потолок. Она подняла голову, увидела кошку — и в её разноцветных глазах блеснуло что-то похожее на облегчение. Не радость — радость была бы слишком простой. Именно облегчение — как когда выдыхаешь после долгого, долгого вдоха.

Они посмотрели друг на друга. Долго. Целую вечность — кошачью вечность, которая длится секунд пять, но вмещает в себя всё.

Моргнули.

Тишина.

Ника снова сидела на стуле перед зеркалом. Две руки. Десять пальцев. Ноги. Помада — размазанная (это Лотта постаралась). На пальце — след от фломастера, старый, трёхдневный. Она посмотрела на этот след и подумала: вот он я. Вот я.

Лотта лежала у её ног и мурлыкала. Как всегда. Как будто ничего не случилось. Но Ника знала, что случилось. И Лотта знала. И это знание было их общей тайной — тихой, тёплой, как мурлыканье.

В другом конце города Глеб-кот вбежал в открытую дверь квартиры — Архип так и не закрыл её, конечно. Архип-мальчик сидел на диване и смотрел на него так, как коты смотрят на тех, кто наконец вернулся. Глеб запрыгнул на диван. Они посмотрели друг другу в глаза — долго, спокойно. Моргнули.

Глеб сидел на диване. Архип рядом — рыжий, с оборванным ухом, тёплый. Мурчал так, что вибрировал весь диван. За окном дождь рисовал на стекле кривые дорожки, и каждая была похожа на улицу придуманного города.

Наушники лежали на полу. Глеб на них посмотрел. Не надел. Вместо этого он слушал: дождь, и мурчание, и далёкие голоса на улице, и собственное дыхание — ровное, спокойное, живое.

Всё как было. И совсем не так.

\* \* \*

## Глава семнадцатая. После

Ника пошла в ванную.

Она открыла воду и долго умывалась. Помада стекала розовыми ручьями — вишнёвая, мамина, та самая. Ника смотрела на себя в зеркало: девочка с немного красными глазами, с разными бровями (левая чуть выше правой —

это никогда не менялось и никогда не изменится), с большим носом и с чёлкой, которая лезла в глаза.

Она улыбнулась. Не для фото. Не для фильтра. Просто так.

Потом она достала телефон. Открыла камеру. Но не включила фильтр «взрослая». Она включила запись.

И запела.

Громко. Неправильно. Не попадая ни в одну ноту. Путая слова и придумывая свои.

Лотта сидела на стиральной машине и слушала с выражением полного одобрения — то есть с закрытыми глазами и поднятым подбородком, что на кошачьем языке означает: «Продолжай. Я наслаждаюсь.»

Ника пела, и смеялась, и снова пела, и пар от горячей воды поднимался к потолку, и где-то далеко — очень далеко, на площади Фонарей — Тутовник качнул ветвями, хотя ветра не было.

Потом Ника выключила запись. Послушала. Голос был кривой — ноты плясали, слова путались, в одном месте она засмеялась прямо посреди фразы. Но в этом голосе было что-то такое... Ника не знала слова. Но Лотта знала. Лотта замурчала в такт.

Ника удалила фильтр «взрослая» с телефона. Не со злостью — просто как снимают шапку, когда уже не холодно. Он ей больше не нужен. Она и так знала, кто она.

Потом Ника позвонила бабушке — той самой, из записки. Не потому что мама просила. А потому что хотелось. Бабушка сказала: «С днём рождения, моя хорошая. Одиннадцать — это очень хороший возраст. Не торопись из него.» И Ника впервые не стала спорить.

Потом она достала из духовки пирог. Он был чуть подгоревший — но тёплый и настоящий. Лотта получила кусочек.

\* \* \*

Глеб достал тетрадь с городами.

Он долго смотрел на страницы: мосты через облака, и лестницы в небо, и башни, которые стоят на кончиках лучей, и улицы, по которым ходят тени, отбившиеся от своих людей.

Потом он сфотографировал одну страницу. Просто так. Без подписи. Без объяснений.

Отправил в общий чат класса.

Минута. Две. Три.

Кто-то написал: *«это где?»*

Глеб написал: *«нигде. я придумал.»*

Пауза. Долгая. Такая, что Глеб уже хотел удалить сообщение, — но тут:

«красиво.»

Одно слово.

Глеб смотрел на него. Маленькое, без восклицательных знаков, без наклеек-эмодзи. Просто — красиво. И от этого слова внутри стало тепло — не от гордости, не от тщеславия. От того, что кто-то увидел. По-настоящему. То, что он прятал.

Потом ещё кто-то написал: *«а там можно жить?»*

И Глеб написал: *«не знаю. но там хорошо.»*

Архип запрыгнул ему на колени и замурчал — громко, одобрительно, всем телом. Глеб положил руку на его рыжую спину и почувствовал вибрацию — мурчание проходило через ладонь, через кости, доходило до сердца и почему-то успокаивало всё, что нужно было успокоить.

Глеб не надел наушники. Не включил музыку. Просто сидел, и слушал мурчание, и дождь за окном, и чьи-то далёкие шаги по мокрому асфальту, и как соседи разговаривают за стеной, и как чайник свистит где-то сверху — тонко, домашне.

Впервые за долгое время мир не казался ему враждебным. Он казался — просто миром. Мокрым, майским, пахнущим сиренью. И этого было достаточно.

\* \* \*

## Послесловие. Смяущая красавица

5 мая. Вечер.

Дождь кончился. Небо расчистилось — не полностью, полоска туч ещё лежала на горизонте, но между тучами и крышами было столько золотого света, что казалось: кто-то разлил мёд по всему городу.

Ника вышла на улицу. Без помады. Без фильтра. В старых кедах и футболке с дырочкой на рукаве. Лотта шла рядом — по-кошачьи бесшумно, по-кошачьи уверенно, будто знала дорогу.

На перекрёстке, где Сиреневый переулок встречается с Чершневым, Ника остановилась.

С другой стороны шёл мальчик. Без наушников. С рыжим котом на плече — Архип сидел на нём, как попугай на пирате, только тяжелее.

Лотта и Архип увидели друг друга. Подошли. Обнюхались. Сели рядом с видом полного взаимопонимания — так сидят люди, которые знакомы тысячу лет и которым не нужны слова.

Ника и Глеб посмотрели на своих кошек. Потом — друг на друга.

Они не знали друг друга. Никогда не встречались в человеческом облике — разные школы, разные районы, разные миры. Но что-то узнавалось — не лицо, не имя.

Что-то в том, как они стояли. Без брони. Без фильтров. Без наушников. Как будто каждый из них недавно был кошкой — и ещё не забыл, как это — смотреть на мир без притворства.

— Твою кошку зовут Лотта? — спросил Глеб.

— Да. А твоего — Архип?

Молчание. Секунда. Две.

Потом оба засмеялись — одновременно — и это был смех, который немного похож на «смяу». Не полностью. Но если прислушаться — слышно. Смех пополам с чем-то кошачьим, мягким, тёплым. Лотта и Архип посмотрели на них, потом друг на друга — и, кажется, кивнули. Кошки не умеют кивать, но эти две — умели. Они ведь однажды были людьми. На один день.

Воздух пах сиренью и мокрым асфальтом. Вечернее небо над перекрёстком было того самого цвета, который бывает только в мае, — синий с золотым, как если бы кто-то смешал ночь и мёд и разлил по всему городу, от крыши до крыши.

Ника сказала:

— Сегодня был странный день.

Глеб кивнул.

— Самый странный, — сказал он. И помолчал. — И самый настоящий.

Они не обменялись телефонами. Не сделали селфи. Не сказали «давай дружить» — потому что это и так было понятно. Просто постояли на перекрёстке — двое детей и две кошки — и майский вечер держал их в ладонях, как светлячков.

\* \* \*

На площади Фонарей воробей Сенека сидел на ветке Тутовника и чистил перья. Дождь кончился, и капли сверкали на листьях, как маленькие фонарики.

Сенека подумал. Встряхнулся. И произнёс — никому и всем сразу — последнее стихотворение этого дня:

*Тот, кто был кошкой и снова стал сам,  
знает: весна не по паспортным дням.  
Она — в том, как честно дрожат голоса,  
когда говоришь настоящие «да».*

Тутовник молчал. Но листья качались — как будто соглашались.

Дворовый Wi-Fi — «FountainSq\_free» — сохранил это стихотворение. Оно будет здесь долго. Может быть, однажды кто-нибудь сядет на эту площадь, подключится к сети — и вдруг услышит. Не словами. Ощущением.

Ведь Смяущая красавица — это не принцесса, которую разбудили. Это девочка, которая перестала спать на ходу.

\* \* \*

Майская ночь наступала медленно. Не торопилась. Не торопила.

Небо стало тёмно-синим — таким, какое бывает только в мае, когда воздух ещё тёплый, а звёзды уже проступают, по одной, по две, как будто их зажигает кто-то очень аккуратный.

Сирень пахла. Так сильно, так нежно, что казалось: сирень — это и есть запах наступающего сна.

Мокрый асфальт блестел в свете фонарей. Капли срывались с карнизов. Редкие. Медленные. Кап. Кап. Кап.

Где-то мурлыкала кошка. Где-то — другая. И ещё одна. Город засыпал под мурлыканье, как ребёнок под колыбельную.

Ника лежала в кровати. Лотта — у неё в ногах, тёплая, тяжёлая, настоящая. Одеяло пахло стиркой и чуть-чуть — сиренью из открытого окна.

Глеб лежал в кровати. Архип — рядом, мурлыкал. Наушники лежали на столе. Тетрадь с городами — рядом. Открытая.

Воробей Сенека спал в дупле Тутовника и видел сон про рифму, которая наконец получилась. Рифма была такая простая, что он удивился, почему не нашёл её раньше. Но во сне все рифмы кажутся простыми.

Бабушка Роза спала с ботаническим альбомом на тумбочке и улыбалась во сне — потому что тутовые ягоды в этом году будут сладкими, она знала наверняка.

Тутовник не спал. Деревья не спят. Но он стал тише — замедлил сок в ветвях, замер, как будто слушал что-то далёкое и важное. Может быть — утро, которое наступит через несколько часов. Может быть — лето, которое уже стоит за городом и ждёт своей очереди. Может быть — тех двоих детей, которые однажды, через много лет, вернуться на эту площадь и скажут: «Помнишь?»

Тутовник будет помнить.

И трамвай номер пять проедет мимо — тихо, по невидимым рельсам, со всеми своими потерянными сокровищами: ленточками, кубиками, рисунками домов с окнами во все стороны. И никто не услышит его звонок, кроме спящих кошек. Кошки дёрнут ушами во сне и снова замурчат.

\* \* \*

Дождь кончился.

Майская ночь.

Запах сирени.

Кошки мурлычут.

Деревья молчат.

Фонари горят.

Сон подступает — мягкими лапами, неслышно, как кошка, которая запрыгивает на кровать.

Близко.

Ближе.

Тише.

\* \* \*

*конец*